

1821–1881

«В белую ночь... озарил душу Достоевского скорбный облик Петербурга... Лучезарный на мгновение, привычно мрачный Петербург — самый угрюмый город в мире. Достоевский опалил свою душу о “холодный город”. Его чувство Петербурга многогранно... Только в связи с восприятием Петербурга не как монументального, а и как социального организма... с особой и сложной душой, можно... охарактеризовать его. Но уже через этот монументальный облик... просвечивает эта “душа”, и, пристально всматриваясь в него, можно отчасти угадать ее сущность».

Н. П. Анциферов

классика в кармане

классика
В
кармане



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

классика
в кармане

Петербургские сновидения

Белые ночи ♦ Крокодил

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



классика
в кармане

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Ф. М. Достоевский

www.bmm.ru

www.trade.bookclub.ua



Петербургские сновидения

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Петербургские сновидения

Белые ночи ♦ Крокодил



*классика
в кармане*

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Петербургские сновидения

Белые ночи ♦ Крокодил



Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)
Д70

Проект Д. Е. Веселова

Вступительная статья *И. Игнатова*

Тексты произведений печатаются по:

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : В 15 т. —
Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1988–1996. — Т. 2–4.

Вступительная статья печатается по:

И. Игнатов. Федор Михайлович Достоевский // Энциклопедический словарь
товарищества «Бр. А. и И. Гранат и К^о» : В 58 т. —
М. : Изд-во т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К^о», 1910–1948. — Т. 19.

При подготовке комментариев использованы следующие издания:

Е. И. Семенов, Н. Н. Соломина. Белые ночи // Достоевский Ф. М.

Собрание сочинений : В 15 т. — Ленинград : Наука

(Ленинградское отделение), 1988–1996. — Т. 2.

И. Д. Якубович. Петербургские сновидения в стихах и прозе //

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : В 15 т. — Ленинград : Наука

(Ленинградское отделение), 1988–1996. — Т. 3.

Е. И. Кийко. Крокодил // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : В 15 т. —
Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1988–1996. — Т. 4.

В оформлении обложки использован фрагмент картины В. И. Сурикова
«Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге»

В книге использованы репродукции картин и гравюр:

М. Н. Воробьева «Набережная Невы у Зимнего» (с. 27),

«Сенатская площадь в Санкт-Петербурге» (с. 33), Б. Патерсена «Невский

проспект у Гостиного двора» (с. 99), Г. А. «Вид Зимнего дворца...

со стороны Невы» (с. 101), «Императорская библиотека» (с. 107)

Литературно-художественное издание

Серия «Классика в кармане»

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович

Петербургские сновидения. Белые ночи. Крокодил

Дизайнеры обложки *Т. Н. Коровина, Я. В. Крутий*

Дизайнер-верстальщик *Е. М. Залипаева*

Подписано в печать 29.01.2013. Формат 76x100/32.

Усл. печ. л. 8,44. Тираж 3000 экз. Заказ №

ЗАО «БММ», г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А. Тел. (495) 984-35-23;
e-mail: office@bmm.ru

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140,
пр. Гагарина, 20а; e-mail: sor@bookclub.ua. Св. № ДК65 от 26.05.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов на ЧП «ЮНИСОФТ»

Свидетельство ДК № 3461 от 14.04.2009 г.

www.ttornado.com.ua

Украина, г. Харьков, ул. Морозова, 13Б

© Nemiroltd, 2013

© ЗАО «Фирма Бертельсманн Медиа
Москва АО», 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 2013

ISBN 978-5-88353-475-0 (серия)

ISBN 978-5-88353-524-5 (БММ)

ISBN 978-966-14-5047-8 (КСД)

Федор Михайлович Достоевский

И во внешних подробностях жизни, и в мировоззрении, и в литературной карьере, и в творчестве Достоевского все полно противоречий. И судьба как-то торопится повернуться к Достоевскому поочередно двумя противоположными сторонами, и он сам представляется читателям то в одном, то в другом, не имеющем ничего сходного с первым образе. Первые впечатления детства и отрочества, хотя и проведенного без роскоши и не без лишений, не заключают в себе ничего, что объясняло бы последующий мрачный характер творчества Достоевского и замкнутость его натуры. Общие отзывы семейных рисуют Достоевского в это время живым и общительным мальчиком. Но, лишившийся матери, отданный на 17-м году (1838) в инженерное училище в Петербурге, Достоевский обнаруживает уже отчужденность от товарищей, замкнутость и склонность к одиночеству. Чуждый военной дисциплине училища, терзаемый муками оскорбляемого самолюбия, он старается в чужом и собственном литературном творчестве найти убежище от действительности. Количество поглощенной им в это время романтической литературы, по его собственным признаниям, огромно. По выходе из училища (1841) начинаются уже серьезные намерения заняться литературой. Произведенный в офицеры, Достоевский скоро покидает службу (1844), читает, пишет, мало общается с товарищами, поверяя брату в письмах свои горделивые мечтания о будущем. Первое же отданное им в печать произведение заставляет его пережить все захватывающие восторги успеха и все удары оскорбленного самолюбия. «Бедные люди» привлекают

к нему внимание лучших ценителей литературы того времени: Белинского, Некрасова. Впечатление, произведенное на них «Бедными людьми», описано Достоевским в воспоминаниях («Дневник писателя», 1877, январь); оно представляет, может быть, единственный эпизод во всей истории литературы, когда люди, пресыщенные литературой, были до такой степени увлечены начинающим юношей и когда величие будущего великого писателя было предсказано по первому еще не напечатанному образцу. Новичку, пришедшему к известному критику услышать свой приговор, Белинский говорит: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар», и этому же новичку нельзя дать других советов, кроме: «Цените ваш дар, и оставайтесь верным, и будете великим писателем». Но первое торжество, после которого Достоевский, по собственному признанию, стыдливо думал про себя в робком восторге: «Неужели вправду я так велик», сейчас же омрачается падением. Проходит немного времени, и не только новые произведения вызывают суровый приговор Белинского, но и к «Бедным людям» знаменитый критик относится уже не с тем восторгом, как прежде. Достоевский чувствует обиду, замыкается, озлобляется. И вот, стоя отдельно от других, замкнутый, одинокий, враг кружков, он по иронии судьбы обвиняется в принадлежности к кружку петрашевцев (апрель 1849), переживает ужас приговоренного к смерти, ссылается на каторгу, в течение нескольких лет выносит всю тяжесть жизни совершенно бесправного, испытывает потрясения, которые делают его эпилептиком, отдается после каторги (1854) на три года в солдаты и из всей этой цепи испытаний выносит учение о спасительности страдания, о счастье страдающих. Но эта проповедь спасительности страдания звучит не примирением, а угрозой; в ней слышится не покой резиныяции, а клочкотание оскорблен-

ности, вопль несправедливо обиженного, противоречивые стремления потрясенной и не прекращающей бурлить души. Возвращенный после Сибири в Петербург (1859), он быстро вновь делается известен своими литературными произведениями, но известность не избавляет его от материальной нужды, от долгов, от преследования кредиторов, от лишений. Вместе с братом он пытается издавать журналы; один из журналов закрывают («Время», в 1863 г.), несмотря на то, что в это время Достоевский в своих публицистических выступлениях уже стоит на противоположном берегу от всяких бунтарских призывов. Денежные затруднения принуждают его уехать за границу (1867) и оставаться там четыре года. Лишь последние годы становятся несколько обеспеченнее, и знаменитый уже писатель может передохнуть от висевшей над ним угрозы попасть в долговую тюрьму. Женатый два раза, Достоевский в первом браке несчастлив, но второй доставляет ему радости семейного очага. Незадолго до смерти Достоевский переживает вновь торжество, подобное тому, которое было пережито в ранней молодости, в памятную ночь посещения Некрасова и Григоровича и в памятный день свидания с Белинским. Он произносит речь при открытии памятника Пушкину, и эта речь привлекает к нему сердца всех слушателей, но когда слушатели разбираются в ней, они видят, что были в восторге от того, с чем в действительности не согласны. Достоевский говорит в этой речи: «Смирись, гордый человек!», и его венчают лаврами молодые люди, все существо которых направлено к бунту и на знамени которых написано: «Дерзай!». Знаменитой речью восторгаются взрослые публицисты, которые по прочтении речи открывают, что предмета для их восхищения нет, ибо речь не согласна с их убеждениями. Вскоре после знаменитой речи Достоевский, всю жизнь изнывавший в лишениях, материаль-

ных и нравственных, умирает (28 января 1881 г.) и хоронится с почти невиданной до того времени торжественностью. И так же, как сам Достоевский, как его судьба, как впечатления от его слов, противоречивы оценки его деятельности. Одни видят в нем талант, направленный к терзанию читателя, другие — бальзам, врачующий душевные раны перспективами умиротворения и гармонии, основанной на смирении; одни, преклоняясь перед художником, отказываются видеть в его творениях дорогу к свету, другие говорят о нравственном откровении, об учении, помрачающем Запад и указывающем России ее настоящие пути. Герои Достоевского, по мнению одних, носят в себе свойства, неотъемлемые от всего человечества, — каждый человек узнает себя в его героях; другие оценивают его героев как многочисленную, но временную общественную группу, — продукт преходящего социального строя; третьи говорят о персонажах Достоевского как о болезненных продуктах патологического творчества. Проповедник смирения — говорят одни; постоянный возбудитель бунта — настаивают другие. Достоевский затрагивает разных читателей разными чертами своего изображения, в каждом терзая наиболее болезненную сторону души. Его собственная беспокойная, вечно мятущаяся в противоречиях, ищущая их разрешения душа влечет читателя в мир противоположных стремлений, в мир борьбы отдельного человека с обществом, добра со злом, смирения с гордостью, веры с отрицанием, личной нравственности с установленным моральным кодексом. В этой нескончаемой войне разных элементов души читатель с особенной силой чувствует боль там, куда преимущественно направляются его собственные мысли и чувства. Если его, главным образом, волнуют вопросы общественной несправедливости, он найдет в творениях Достоевского кричащий, грозный обвинительный акт против этих несправедливо-

стей. В огромной галерее несчастных, смиренных, гордых, приниженных, озлобленных, шутов, сладострастников, жертв идеи и жертв самоотвержения он увидит только последствия социальных несправедливостей. Если, независимо от общественных форм, в которых складывается борьба добра со злом, читатель увлечен сущностью и проявлениями этой борьбы, то он увидит ее везде, и в ранних произведениях Достоевского — в «Двойнике», в «Униженных и оскорбленных», — и, конечно, только ею будет увлечен в более поздних произведениях. И так же почувствуют себя среди героев Достоевского те читатели-резонаторы, которые более всего откликаются на вопросы о вере, о любви к людям, о смирении перед несчастьями, о горделивом протесте против несовершенств жизни. Вот причина разнообразных и противоречивых суждений о Достоевском, а вместе с тем, причина жизненности его творчества. Он говорит каждому читателю, но в каждом затрагивает иное; первые почитатели Достоевского, люди гуманных стремлений и гражданских чувств, восхищались в Достоевском не тем, что находили в нем достойным своего восторга последующие читатели, сторонники богоносных свойств русского народа. Самый характер изображения, самый способ обращения Достоевского с жизненным материалом способствовал противоречивости оценок его творчества, преобладанию патологии — по мнению одних, нормальной деятельности — в глазах других. Если Тургенев изображал своих женщин в момент высшего расцвета духовных сил, высшей гармонии и высшей красоты, то Достоевский брал своих героев в минуты доходящей до крайних пределов душевной борьбы. Если тургеневские женщины, не теряя своей связи с землей, устремлялись к небу и, не утрачивая сходства с тем, что знакомо каждому из нас, превращались, благодаря счастливо выбранному моменту жизни, в героинь, то по той же

причине персонажи Достоевского казались душевно ненормальными, кандидатами в психиатрическое заведение, несмотря на близость основы их душевной жизни к тому, что переживают нормальные люди. Белинский говорил о дарованной Достоевскому правде, но эту правду, эти общечеловеческие свойства Достоевский добывал из того хаоса, в который повергает человека неразрешимая душевная борьба. Моменты спячки, даже моменты светлых душевных стремлений не интересовали Достоевского. Только тогда, когда над человеком надвигалась какая-то грозная буря внешних событий, или его собственные переживания доводили душевную муку до крайнего предела, только тогда Достоевский находил почву, удобную для искания художественной и жизненной правды. Часть критики находила, что все творчество Достоевского можно разделить на две половины: первую, когда гуманные начала господствуют над писателем и все его внимание обращено на социальную несправедливость, на страдания униженных и оскорбленных, и другую, последовавшую за каторгой, за долгими испытаниями, от которых Достоевский прятался в вымученной теории о благодати страдания. В этой второй половине гуманные идеи первой будто бы заменяются проповедью смирения; те, кто против этой проповеди, русские отрицатели современной Достоевскому эпохи, подвергаются с его стороны осмеянию и осуждению; в эпизодических сценах, а иногда и в целых романах Достоевский делает их смешными и глупыми или отвратительными и ужасными. Другие читатели не признают этого деления на две половины, и надо признаться, что, если рассматривать основы творчества Достоевского, то между обеими половинами его деятельности — до каторги и после каторги — существенной разницы нет. Достоевского-романиста нельзя делить на основании тех или других публицистических

выпадов его. Как романист Достоевский не устанавливал правил, не руководился теми или другими гражданскими взглядами; все это даже в романах было делом публициста. Как романист, он изображал борьбу, процесс жизни, противоречивый и не поддающийся подлаживанию под те или другие гражданские тенденции. Для него загадка жизни была неразрешима, и уже по одному этому не правильны поиски практического руководства в его творениях, несправедлив взгляд на Достоевского как на учителя жизни. Несомненно, односторонни читатели, видящие в Достоевском (хотя бы только первой половины творчества) автора, изображающего страдания только одной общественной группы, но еще более не правы критики, нашедшие в Достоевском успокоительное решение относительно превосходства России над Западом, смирения — над гордостью, русского всечеловека — над сравнительно узким национальным типом иностранца. Все, что относится к таким решениям, укладывается в Достоевского-публициста и оставляет в стороне Достоевского-романиста, — прежде всего человека коллизий и нерешенностей. Для Достоевского вечная борьба в человеке не завершается миром. Можно сказать, что главное отличие Достоевского от других великих и малых писателей и заключается в невозможности такого примирения даже в перспективе. Две души Фауста если не сливаются, то стремятся слиться у многих больших и малых писателей; этому слиянию мешают временные внешние обстоятельства; какая-то коллизия чуждых препон стоит на пути внутренней гармонии; но в существе душевного состояния человека как будто нет безусловного отрицания гармонии: есть какой-то промежуточный слой, какой-то отдаленный горизонт, где земля и небо могут сойтись примиренными, где туманная даль стирает контуры, растворяет краски, покрывает голубой

дымкой земные очертания и придает небу яркость земных тонов. Но для Достоевского гармония невозможна нигде, никогда, невозможна по самому свойству борющихся сил. Как слить воедино Содом и Мадонну? Как сделать зло добром? Как поселить человека в обществе и сделать его вполне свободным? Социальные реформаторы могут решать последний вопрос; моралисты и философы могут в первых двух вопросах найти трудные, но не непреодолимые задачи. Для Достоевского возможна только борьба, только постоянное страдание раздираемого противоположными влечениями человека; и как только исчезает борьба, так начинается настоящий ад. Свидригайлов, один из героев «Преступления и наказания», рисует себе вечность не в виде того ада, к представлению которого мы привыкли, не в виде физических или моральных страданий, а именно в форме исчезновения борьбы, исчезновения страдания, отсутствия жизни. «Представьте себе — будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность». Достоевский иногда дает и решение, но это не результат поисков, а заимствование, делаемое романистом у публициста. Страдающему и мятущемуся, беспокойному и не могущему умиротворить борения своих страстей он говорит то, что сказал на пушкинском празднике: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость». Он заставляет Раскольникова отказаться от своих помыслов, примириться с обществом, поклониться смирению; но это — не собственный вывод Раскольникова; здесь Достоевский вмешался, как *deus ex machina*¹ старых пьес, необходимый для развязки запутанной интриги. Смирившийся, переставший бороться и страдать Раскольников нам незнаком и непонятен; его смирение —

¹ Бог из машины (*лат.*).

не смирение некрасовского Власа, который прежде «брал с родного, брал с убогого, крал у нищего суму», а потом увидал открывшийся ужас, и «сила вся души великая в дело Божие ушла». У Раскольникова смирение должно уничтожить великую душевную силу, потому что недуг его — недуг страшной обиды, нанесенной человеку обществом, недуг чувства, подкрепляемого головным решением, — не может быть исправлен только волевым решением принять веру смиренной Сони: того великого чувства, которое перерождало бы человека, у него в момент смирения нет. И нет ни у одного из героев Достоевского, приходящих к умиротворению и оставляющих поле страданий и борьбы. Его Алеша Карамазов — пока (в вышедшей части романа) только confident, коллектор чужих секретов, а не человек гармонического сочетания противоречивых влечений души, не завершение борьбы. И Зосима, учитель жизни, не гармония, а односторонность, не умиротворение, а отсекаание одной половины существования. Иных положительных персонажей и не мог создавать Достоевский, потому что иной концепции мира, кроме концепции вечной борьбы и непрекращающегося страдания, кроме непримиренности разных стремлений в человеке, он и не мог представить себе. Терзаясь таким представлением мира, он искал освобождения от него в теории о спасительности страдания, в святости смирения, но творческое вдохновение отказывалось давать что-либо, кроме картин страданий, протеста, борьбы, и тогда Достоевский, отвернувшись от творчества, с надрывом в душе искусственно создавал умиротворяющие видения людей, счастливых отрешением от гордыни. Но вдохновение шумным потоком прорывалось через искусственно созданную плотину смирения и успокоительных решений, и опять мир страдания, мир противоречивых стремлений, непримиримых помыслов и непрекращающейся

борьбы бурлил и клокотал перед воспаленным взором писателя.

Толчком для душевной борьбы является самое существование индивидуума в обществе. Отдельный человек влечется к группе и чувствует в то же время вражду к ней. Можно сказать, что большинство наиболее заметных героев Достоевского мучается и страдает из-за несогласия с обществом. Одних окончательно раздавливает общество, покаяясь им себе, извращая их индивидуальность; другие сами нападают, борются с обществом; третьи пытаются согласовать личное начало с общественным в форме замкнутого смирения. Велика галерея характеров, изображенных Достоевским; разнообразны мотивы страданий и борьбы, происшедшей из-за столкновения индивидуума с обществом, и обозреть их все в беглом очерке нет никакой возможности. Ограничимся указанием на некоторые, наиболее подробно изученные им виды страданий, воплощенные в героях различных романов. Уже в первом произведении, принесшем Достоевскому столько глубоких переживаний, встречаемся мы с тем видом страдания, который потом, варьируясь и приобретая новые черты, пройдет через многие его романы и повести. Герой «Бедных людей», приниженный, забитый, оскорбленный судьбой Макар Девушкин, по выражению Белинского, «даже и несчастным-то себя не смеет почесть», «почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать». Девушкин не протестует против своего унижения; с искренним восторгом он целует ручку «их превосходительства», увидавшего необыкновенную нужду незаметного чиновника; он принимает напасти судьбы смиренно, иногда с тихой жалобой, по большей части с недоумевающим сознанием гибели. В его душе тоска — по лучшей жизни, по маленькому, невзыскательному, незаметному счастью, заключа-

ющемся в общении с таким же униженным и погибающим существом; в основе души добрые порывы, благородные чувства. Это — первая стадия униженного и оскорбляемого. Пройдет немного времени, и психология изменится. Унижение, доходящее до крайнего предела, само становится силой, орудием мести человечеству. В изображении Достоевского человек, потерявший даже «право на несчастье», презирающий себя за унижение, начинает чувствовать какое-то сладострастное наслаждение в муссировании своего унижения; он оскорбляет человечество видом перешедшего все пределы унижения, демонстрированием пришибленности, как оскорбляют благополучных прохожих нищие видом своих лохмотьев и открытых язв. Он становится тем, что психиатры описывают как явление некоторых душевных болезней, — *persécuté persécuteur*¹; делается преследуемым преследователем, в каждом новом оскорблении находя новое орудие мести человечеству. Таких оскорбленных оскорбителей человечества целая серия у Достоевского. Фердыщенко («Идиот»), Лебядкин («Бесы»), Человек из подполья, даже сам Федор Павлович Карамазов — все это оскорбленные человечеством мстители за свое погибшее достоинство. Злобное любованье своей низостью составляет их характерную черту. В прошедшем — огромное страдание, длинная цепь испытаний, приниженности, вынесенных насмешек, постоянных заушений. Как будто человек, прошедший через все то, что довелось испытать несчастному герою «Бедных людей», второй раз родился, но уже родился не прежним, беззлобным и не имеющим даже права на несчастье, но искалеченным, изломанным, раздраженным шутом, потерявшим право бояться оскорблений и чванящимся ими, как богач чванится своими до-

¹ Преследуемый преследователь (*фр.*).

статками. В прошедшем — убыль человека: каждое новое оскорбление что-то уносило, пока не дошло до границы, до предела возможного ограбления человеческого достоинства; дальше убыль прекращается, уносить нечего, и каждое новое оскорбление, каждый удар судьбы является уже прибавлением к арсеналу орудий мести, процентом к накапливаемому капиталу горечи, бросаемой в лицо человечеству. В этой стадии униженный уже перестает быть жертвой, но сам плодит жертвы. Лебядкин «ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, ногойкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам». «У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он ее в порядок приводит». Федор Павлович Карамазов уже совсем теряет человеческий образ и творит жестокости, продолжая играть роль оскорбленного шута. Человек из подполья в той стадии, в которой застает его читатель, тоже — не жертва, а оскорбитель; но старые раны болят, и каждое новое прикосновение к ним чувствуется как вновь наносимая рана. Человек из подполья так же, как другие *persécutés persécuteurs*, по обстоятельствам ли своей жизни, по особенностям ли своей природы, чувствовал себя постоянно оскорбляемым знакомыми, незнакомыми, сильными и бессильными. Уже тем самым, что встречный, сильный и уверенный в себе прохожий мог его сбросить с дороги, не заметив этого, уже по одному этому он становился его оскорбителем. Уже по одному тому, что бедно одаренные, глупые товарищи могут наслаждаться и радоваться, в то время как он, более умный и понимающий, тоскует, и злится, и переживает оскорбления от прохожих, от собственного лакея, от хозяйки, — уже по одному этому он ненавидит их и чувствует наносимое ими ему оскорбление. «Записки из подполья» — страдания одинокого человека в обществе, доведенные до степени самопрезрения и презрения ко

всему. И человек из подполья, и капитан Лебядкин, и Фердыщенко возбуждают отвращение читателя, но они вызывают и жалость, поворачиваясь к читателям то своим настоящим, то прошлым. Есть раннее произведение Достоевского «Двойник», которое объясняет не только душевную природу всех последующих героев Достоевского, но и отношение читателя к большинству персонажей. Главное лицо этого произведения — титулярный советник Голядкин, нечто чуть-чуть превышающее Макара Девушкина, — видит самого себя, другого чиновника Голядкина, перебегающим ему дорогу во всем; Голядкин живет под постоянным страхом, что этот другой, он сам, нахально спихнет его с насиженного места, нагло отнимет то, что ему принадлежит, окончательно испортит его жизнь. И он ненавидит этого второго себя и проникается непомерной жалостью к другой половине своего существования, попираемой и оскорбляемой. Такое же раздвоение чувствует и читатель, видящий в прошлом Человека из подполья огромную массу страдания, — страдания одиночки в обществе, и не могущий не чувствовать ко второй его половине, заушающей и оскорбляющей, ничего, кроме презрения и отвращения. И как бы для того, чтобы продемонстрировать, как Фердыщенки и Лебядкины произошли от героя «Бедных людей», от Макара Девушкина, Достоевский показывает серию промежуточных характеров — Мармеладова («Преступление и наказание»), штабс-капитана Снегирева («Братья Карамазовы»), Лебедева («Идиот»). Все это — Макары Девушкины по чувству отрады, которую они ищут в общении с себе подобными униженными и оскорбленными. У них есть любимые существа, есть уголок, который они прячут от других и в котором ревниво охраняют остатки своего человеческого содержания. Но рядом с этим миром болезненной, жалостливой любви находится для них другой мир, где они

чувствуют себя презренными, шутами, где они презирают себя и ненавидят других. Мармеладов, пьянствующий в этом другом мире, сгорает высшей жалостью в первом. Лебедев знает, что он «нищ и наг, и атом в коловращении людей», и «для самоумаления» он называет себя перед людьми не Лукьян Тимофеевич, как следовало бы, а Тимофей Лукьянович; он чувствует, как «всяк изощряется над ним и всяк вмале не пинком сопровождает его»; и для общения с людьми он толкует Апокалипсис, ибо «в толковании сем он равен вельможе» и «вельможа затрепетал на кресле своем, осязая умом»; но и у Лебедева есть собственный маленький мирок, где он еще не шут, не устрашитель вельмож, а живущий искренним и сильным беспокойством человек. И такой же мирок есть у штабс-капитана Снегирева, уже озлобляющегося, уже готового при одной мысли о потере этого мира к роли озлобленного и мстящего шута. И присутствие этих промежуточных характеров помогает читателю понять весь полный страдания путь человеческого извращения: от Макара Девушкина до Смердякова или капитана Лебядкина.

Но главными героями лучших романов Достоевского являются люди иных характеров, люди с раздвоенной душой, с противоречивыми побуждениями. Они также страдают от оскорбления, наносимого человеку человечеством, но если в первой группе Девушкиных, Мармеладовых, Лебядкиных оскорбление сопровождается сознанием своей униженности, то здесь оно вызывает чувство протеста. Раскольников, Иван Карамазов — наиболее яркие выразители такого состояния души. Протест Раскольникова активен. Он смело борется с обществом, борется в то же время одной частью существа с другой, не допускающей его сделать то, что ему кажется необходимым. Если отдельный человек, — рассуждает он, — какой-

нибудь Ньютон или Кеплер не мог бы довести своих открытий до сведения людей иначе, как пожертвовав жизнью одного, десяти или ста человек, то он обязан был бы устранить этих десять или сто человек, и все «из колеи выходящие люди» должны по природе свой непременно быть преступниками, т. е. закону, поставленному обществом, должны противопоставлять они свой собственный, ими признанный и считаемый справедливым закон; необыкновенные люди имеют право «разрешать кровь по совести», имеют право убить, если это необходимо для их необыкновенной цели. Между Человеком из подполья и Раскольниковым, между одиноким злючкой и одиноким выискивателем новых путей — большая разница в окончательных действиях, но не в отправной точке. Если мир скверен, если я занимаю в нем страдательную роль, то буду же я мстить этому миру тем, что сам на себя посмотрю как на нечто, одной своей низостью оскорбляющее мир, — так бессознательно направляют свой жизненный путь люди из подполья. Если общество отвратительно и оскорбляет меня, — рассуждает Раскольников, — то я имею в себе достаточно сил, чтобы сразиться с ним и проявить свою волю. Но, сражаясь с обществом и перешагивая через принцип, установленный обществом, Раскольников не замечает, что главную борьбу ему приходится вести не с обществом, а с самим собой. Общество гнетет человека не одним только тем, что оно сейчас предъявляет к нему стеснительные требования, но и тем, что оно заложило в нем свои понятия, свои принципы, создало в отдельном человеке залежи, от которых уже нельзя отделаться и с которыми нельзя победоносно бороться. Раскольников, убивший старуху-процентщицу, перешагнул через общественное запрещение; для этого он нашел в себе достаточно сил. Но отвращение к отнятию чужой жизни, которое с давних пор заложено в нем как

в члене общества, не может быть уничтожено одним фактом убийства. Борьба не уничтожена преступлением, после него она только и загорается во всей силе. Между головным решением Раскольникова, которое подсказано чувством страшной оскорбленности, нанесенной обществом, и тем моральным строем, который заложен в нем вследствие одного пребывания в обществе, начинается борьба, кончающаяся победой общества: бессознательно чувствует Раскольников неправоту единичного решения, и это бессознательное чувство победоносно борется с его гордым вызовом обществу. Сосланный в каторгу Раскольников смиряется, но в этом смирении ни для Достоевского, ни для читателя нет и не может быть действительного решения конфликта между обществом и индивидуумом, потому что здесь полнейший разгром единичного выступления, а не договор со взаимными уступками двух боровшихся противников. Вопрос настолько не решен, что с новой и, может быть, еще большей силой он выступает опять в душе Ивана Карамазова. Несовершенство мира, страшная обида, наносимая человеку, на этот раз кажутся неустрашимыми совершенно. Масса человеческого страдания не может быть искуплена тем, что когда-то настанет гармония, и «весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как гнусенькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого ума, что, наконец, в мировом финале в момент вечной гармонии случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими крови». Если даже придет эта гармония и «мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее», то не может, по мнению Ивана Карамазова, быть принята такая гармония, потому что страдания человеческие остались неискупленными. Раскольников находил,

что если бы на пути распространения сведений о Кеплеровских и Ньютоновских открытиях стояли десятки и сотни людей, то Ньютон и Кеплер обязаны были бы их, этих людей, устранить. Для Ивана Карамазова вопрос ставится иначе: если бы для счастья человечества «необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище» и «на неотмщенных слезках его основать здание» всеобщей гармонии, то быть архитектором этого здания Иван Карамазов ни за что бы не согласился. И потому он не приемлет мира. «Слишком дорого, — говорит он, — оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход, а потому билет свой на вход спешу возвратить обратно; и если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее... Не Бога я не принимаю, я только билет ему почтительнейше возвращаю». Но не приемля мир, отрицая будущую гармонию, Иван Карамазов все-таки признает жизнь, и настолько признает, что никакое отчаяние неспособно победить в нем «эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни». Он «жизнь любит больше, чем смысл ее», любит весенние «клеякие листочки, голубое небо». «Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь». А когда эти силы, когда молодость пройдет, т. е., по Иванову расчету, к тридцати годам, что же останется? Решение таково: для человека в обществе возможно только закрывание глаз, признание фиктивной свободы, которой на самом деле не существует, и в этом счастье толпы, действительное счастье. Охранителями такого счастья являются люди, знающие, что свободы нет, и тщательно скрывающие это знание от толпы. Как Великий Инквизитор, они принимают на себя несчастье свободы, для того чтобы сделать других счастливыми. «Будет, — говорит Великий Инквизитор, созданный воображением Ивана Кара-

мазова, — тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла... Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны». С таким представлением мира и человеческой свободы, носящейся лишь в воображении людей и являющейся в действительности скрытой неволей, Иван Карамазов приходит к тому же решению, из которого вышел Раскольников, только он идет еще дальше: признавая за «необыкновенными людьми» право на преступление, Раскольников ограничивал это право человеческой пользой; Иван думает, что для необыкновенных людей, для хранящих «тайну» и знающих предел человеческой свободы «все позволено». И борьба Ивана — борьба этого страшного решения, этого отрицания мира со страшной жадой жизни. Но это только одна сторона борьбы. С теорией «все позволено» вступает в бой бессознательное стремление к иному, более ясному и общераспространенному взгляду на мир, — то самое стремление, которое жило в Раскольнике, которое составило муку его существования после преступления и которое заложено в человеке обществом. Иван Карамазов, гордый вершитель судеб мира, — один из самых сильных и ярких характеров Достоевского. И крушение его мировоззрения есть крушение всех гордых, сильных, желающих изменить мир героев Достоевского. Они принимают на себя то страдание, которое в представлении Великого Инквизитора является уделом немногих несчастных, овладевших тайной управления миром. Но сильные и яркие, они мучаются в сущности той же жадой познания и улучшения мира, которая живет во всем человечестве. Это — муки сомнения всех мыслящих людей. Муками же сомнения полна душа главного героя «Бесов» Николая Ставрогина. Но в то время, как толчком душевных терзаний Раскольникова и Ивана Карамазова является «не-

приемлемость мира» в том виде, как он представляется нам, источника волнений Ставрогина мы не знаем. Созданный по романтическому образцу таинственных героев, Ставрогин до самого конца остается не совсем ясен. Несомненно только, что загадки жизни он разрешить не может, что от обуревающих его мучений он бросается то в разврат, то в самоистязание, принимая пощечины и ставя препятствия между собой и возможным земным счастьем. Умом пытается он решить задачу человеческого существования, но недостаток воодушевляющего к подвигам или влекущего к небу чувства — непреодолимое препятствие к принятию определенной дороги. И вот, заражая богатыми идеями других, для себя он находит только надрывную жизнь, которая не может кончиться ничем, кроме самоубийства.

Кроме этих двух видов страдающего существа, — оскорбленного и мстящего собственной низостью шута, с одной стороны, и гордого борца с обществом и с миром, с другой, — Достоевский останавливается на третьем виде, на изображении существа, руководящегося смирением. Таких существ два вида: одни руководятся головным измышлением о необходимости и спасительности смирения; таковы Зосима и Алеша «Братьев Карамазовых»; об их художественном значении мы уже говорили. Но есть другой вид смирения — смирения, вытекающего не из идейного решения, а сотворенного жизнью, смирения вынужденного и неизбежного. Такова Соня «Преступления и наказания», таков князь Мышкин в «Идиоте» — высокохудожественные изображения тех страданий, которые неизбежны в человеческом обществе для смиренных. Страдания Сони, поставленной по своему положению в ряды гонимых обществом существ, мотивированы самим общественным положением ее. Страдания князя Мышкина сложнее. Князь Мышкин,

как Каспар Гаузер, приходит в мир уже взрослым, приходит с открытыми доверчиво глазами и простым сердцем. Он со смирением и готовностью принимает все, и жизнь сейчас же задает ему мучительные загадки: она требует от него жестокости, а не смирения. Перед ним неизбежная любовь к двум женщинам: к одной потому, что она его любит и он ее; к другой потому, что без его любви невозможно ее спасение. Он решает, что надо «обеих любить». «Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь», — восклицают на это заявление люди, знающие жизнь. И так как любить обеих нельзя, дело кончается катастрофой. Смирение — такой же неистощимый источник страдания, как шутовство, как гордость.

Среди мук, переживаемых униженными, смиренными, гордецами, шутами, особенные муки переживаются женщинами. С особенной любовью Достоевский останавливается на двух характерах женщин, может быть, одинаково страдающих, но неодинаковых по своему духовному содержанию. Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых», Аглая в «Идиоте» — таков один характер; Настасья Филипповна в «Идиоте», Грушенька в «Братьях Карамазовых» — таков второй. Гордые и чистые, Аглая и Катерина Ивановна способны на самоотвержение, на подвиг, на любовь; входя в соприкосновение с миром, они страдают потому, что мир не отличается той чистотой, при которой они могли бы быть счастливы; их мучают чужие уколы, чужая измена, вероломство, грязь. Но сами в себе они не носят борьбы: их чувства ясны, их мысли не имеют разлада. Они не рвутся к небесному, потому что их земная личина чиста. Грушенька и Настасья Филипповна, прежде всего, — душевный ад. Общество страшно оскорбило их; оно принизило их и в общем, и в их собственном мнении; они сознают грязь своего существования и мучаются им; но они носят в себе непобедимое стремление к небу,

к тому, что так далеко от грязи теперешнего их существования. «Инфернальные» женщины неотразимо привлекательны этим соединением земного элемента с влечением к совершенному, своим внутренним страданием, своей нескончаемой мукой. Около «инфернальной» женщины неизбежна страшная катастрофа, ожесточенные схватки, сумасшествя, убийства, потому что инфернальная женщина одинаково вызывает к жизни плотоядные и возвышенные инстинкты, потому что сама она не знает, к чему она ближе, к небу или к земле.

Это представление мира как вечной борьбы и не могущего прекратиться страдания изображено Достоевским в ряде больших романов и менее обширных повестей. Вводя публицистический, а иногда и полемический элемент во многие эпизоды своих произведений, Достоевский временно суживал значение последних. Но внешний толчок, давший повод к возникновению целого произведения или небольшого эпизода, придавал только поверхностный полемический и неприятный характер изображаемому, внутреннее же значение выходило из временных границ, умышленно поставленных автором. Так, например, «Бесы» — роман, вызванный к жизни так называемым нечаевским процессом и как бы написанный с целью представить в особенно мрачных красках деятелей этого процесса, уже давно потерял неприятный привкус унижающей романиста политической полемики, не потеряв ничего из своего глубокого внутреннего значения. Но внутреннее глубокое значение романов Достоевского, конечно, не имело бы для читателей той привлекательности, какую имеет теперь, если бы вместе с ним романы Достоевского не отличались необыкновенно интересной внешней фабулой. От большинства произведений Достоевского трудно оторваться, — до такой степени увлекательна их фабула. Нервный, часто

неправильный, оригинальный язык Достоевского придает изложению особенную страстность, а нагромождение событий, казавшееся некоторым критикам грехом против художественности, гармонирует с тем хаотическим состоянием, в котором находится душа большинства действующих лиц.

И. Игнатов

БЕЛЫЕ НОЧИ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН (Из воспоминаний мечтателя)

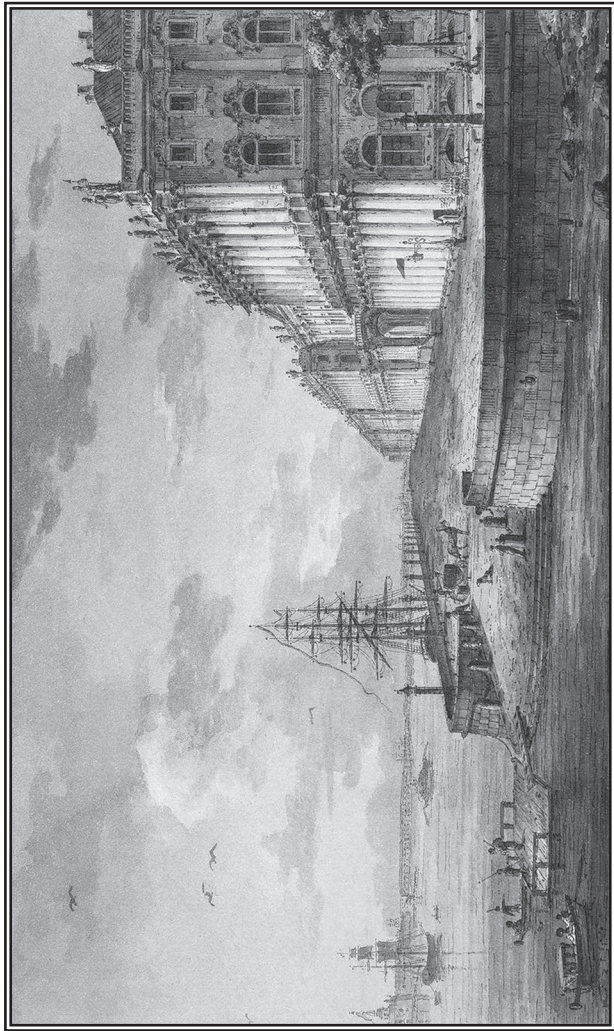
...Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?..

Ив. Тургенев

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам Господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь

Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте, в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии — и люблюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день,



Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни одного лица...

Содержание

<i>И. Игнатов. Федор Михайлович Достоевский</i>	3
Белые ночи. Сентиментальный роман	25
Петербургские сновидения в стихах и прозе	96
Крокодил.	131
<i>Комментарии.</i>	179